

**ЗИНАИДА
ГИППИУС**

ЛУННЫЕ
МУРАВЬИ

Зинаида Гиппиус
Лунные муравьи

«Public Domain»

1910

Гиппиус З. Н.

Лунные муравьи / З. Н. Гиппиус — «Public Domain», 1910

«В прошлом месяце шел я по Измайловскому мосту, сумерками. Холодно было, ветрено. Народу не густо. Вдруг вижу – метнулось темное что-то к перилам, тяжело через них перевалилось и бултыхнуло в черную, уже льдисто-сальную воду...»

© Гиппиус З. Н., 1910

© Public Domain, 1910

Зинаида Гиппиус Лунные муравьи

1-го ноября 1909 г.

В прошлом месяце шел я по Измайловскому мосту, сумерками. Холодно было, ветрено. Народу не густо. Вдруг вижу – метнулось темное что-то к перилам, тяжело через них перевалилось и бултыхнуло в черную, уже льдисто-сальную воду.

Тут закричали, засвистели, затолпились, побежали с тротуара вниз, куда-то к пустой пристани, к баракам.

Пошел и я. Пока проталкивался, слышу: «Вытащили. Багром сряду зацепили и вытащили».

И уж стоит на тротуаре мужичонка, вода с него так и течет, глаза волосами совсем залеплены, сам фыркает и трясется. Сумерки серые, плохо видно, но я подошел близко. Совсем молодой парень, худой, маленький.

Городовой рядом, сердится, подталкивает его куда-то.

– Ах ты, на тебе! Иди уж, иди!

– Шапчонка-то моя... – бормочет парень. – Шапчонка-то...

– Да, вот шапку еще твою вылавливать... Садись добром... Эй, извозчик.

Откуда-то взялся недовольный, но покорившийся извозчик. В толпе слышались негодующие возгласы. Все были против парня.

– Шапчонка-то – твердил он, трясясь. – Мать честная... Ваше благородие...

– Ишь ты, тоже! Туда же, гляди, жизнь надоела! – фыркнул презрительно какой-то мастеровой. – Вот те и «Мать честная»!

Барыня визжала:

– Городовой, что ж вы? Везите его в больницу! Он сырой воды наглотался, с ним холера будет!

Окончательно озверевший городовой с ругательствами втолкнул мужичонку на извозчика, сел сам, стараясь держаться подальше, и затузил извозчика в спину.

Утопленник мотал мокрыми волосами, беспомощно лепетал что-то, должно быть, то же самое, и они уехали, трясясь, в серую мглу.

Народ расходился, ворча.

– Пропасти на них нет! – сказал купец и плюнул. – Эдака тля, а тоже! Беспокойства сколько. И что за мода пошла нынче?

Девушка в платочке возразила робко:

– Коли ему жисть надоела...

Купец только рыкнул на нее и опять плюнул.

– Безработный, может, али деньги хозяйские потерял, – сказал кто-то глухо.

Никто на это не обратил внимания. Расходились равнодушно. Дело обычное.

Передо мной еще так и стояло лицо парня. Мокрый, фыркающий, лепечущий о шапчонке. И как это вдруг взял, да и перевалился за перила? Ничего-ничего – и вдруг перевалился.

С того вечера меня потянуло к самоубийцам. Начал я свою статистику им вести, по газетам; во всякий случай вглядывался. Ничего не могу понять. Тянутся предо мной целые их полки, рои роятся. Причины все разные – и все одинаковые, и все какие-то непонятные.

Что с ними делается, перед тем как они решатся? Какие они? Можно ли их угадать?

Прошлой весной застрелился знакомый студент. Я его видел незадолго и ничего решительно не заметил. После говорили товарищи, что он все «задумывался». Но врут, нисколько не «задумывался».

8-го ноября

С тех пор, как веду им счет – просто покой потерял. Работа даже не ладится. Самое непонятное – что их такая куча. Такая, какой никогда доньше не было. Это я знаю, я справлялся. И затем – «причины». То есть отсутствие «причин», потому что обстоятельства, которые они выдают за «причины», – просто обстоятельства жизни. И всегда они были. То получше, то похуже. Всегда были.

Особенно пошло на девиц из простеньких. Ведрами уксусную эссенцию глотают. Впрочем, везде их, этих себя-убийц, равно много, о девицах только слышнее.

Почему-то поразила меня Катя Каменная. Сам не знаю, почему она. Справлялся даже о ней в больнице. Спасли. Выздоровела. Она объявила, что нет причин.

15-го ноября

Вчера вечером пошел, наконец, на Лиговку. Мороз, – дыхание захватывает.

Пристали две какие-то, в легоньких пальтишках. Носы красные.

– Послушайте, милые мои, – говорю им. – Вы не воображайте, никакой вам особенной пользы от меня не будет, а если хотите на полчаса зайти куда-нибудь погреться, я вас, пожалуйста, чайком угошу.

Переминаются, не понимают. Под фонарем сверкнули глаза какого-то картузника. Остановился, вглядывается, вслушивается. Рожа обыкновенная, молодая и хулиганская.

– Чего ж вы? Ну, как знаете. Я просто для разговору. Фыркнули.

– Да мы што ж...

– Хотите – и кавалера возьмем, коли ваш знакомый. Картузник приблизился.

Спросил остуженным голосом.

– Чего это?

Я повторил свое простое предложение, которое им всем казалось необыкновенным. Собрался уходить, надоело мне.

– Вот тут недалечко, в «Рекорд» зайдём, – сказала вдруг одна из девиц. – Морозно. Глотку даже перехватило. А какие это разговоры вам понадобились?

– Да вообще, – отмахнулся я. И прибавил грубо:

– Любопытно мне, с чего вы, идиотки, травитесь зря? Девицы засмеялись.

– Мало ли дур! А мы и не воображаем!

Двинулись к «Рекорду». Картузник следовал за нами. Собственно, картузником его назвать было нельзя, так как на голове красовалась расшлепнутая и слинявшая студенческая фуражка. Но я знал, что она, эта фуражка, обозначает: «В ней в трактир не смеют не пустить», – объяснил мне один такой малец уже давно.

«Рекорд» оказался трактиром весьма обыкновенным; в должной мере грязный, но не совсем трущобный.

Сели в общую. Спросили чаю. Пива я нарочно им не спросил.

Девицы оказались очень схожие, обе щуплые, серенькие и молоденькие.

– Мы две подружки: Варя и Даша. А прозвищев мы не скажем, потому что вам ни к чему.

– Не знаете ли вы Катю Каменную? – спросил я.

– Вам на что же ее, господин? – ответил вопросом человек в фуражке.

– Да так, для разговору. Ведь я сказал, что интересуюсь одним делом. Ну да ладно. А вас как зовут?

– Меня-то? Да мало ли у меня титулов. Вот, между прочим, Иван-Хан зовут. Так, между прочим. За то, что много жен имею. А этот у нас Ванька Выкрест.

Я обернулся. Не заметил раньше, что за нами вошел еще другой человек, в такой же фуражке; лупорожий, длинный, вялый; ходил мягко, точно кот, и приседая: обе ноги на одну половицу ставил.

– Чай да сахар.

– Милости просим, – сказал я. – А вы что ж, из евреев?

– Ни Боже мой! – ответил за него Хан (и действительно было непохоже). – Выкрест, потому что он после революции лютеранство принимал, на жидовке метил жениться. Да не выгорело.

Выкрест с таинственным видом обратился ко мне.

– Вы, господин, ежели из газеты и насчет отравлений, то эти девчонки не годятся. А я и Катьку Каменную знаю, и других прочих.

– Врешь ты! – закричала Варя. – Не знаешь ты Катьку Каменную. Ее Матара знает, вот ее кто знает! Только она теперь, Катька не хожала. Больная, и денег ей после больницы собравши.

– А ты понимаешь, что к чему? Понимаешь? Матара знает! Да я эту Матару хоть сейчас могу привести! Угодно вам, господин, Матару?

Я замахал на Выкреста руками.

– Во-первых, сссем я не из газеты, а от себя. А во-вторых, прошу потише. Вы ко мне особенно не подъезжайте, пользы от меня не дождетесь, так что много врать незачем. Угостить угощу понемножку, коли от знакомства не отказываетесь, а больше ничего. Если кто из вас Катю Каменную знает или Матару эту, что ли, скажите им. Приду еще завтра на полчаса, поговорим, чайку попьем.

Это понравилось собеседникам. Начистоту.

– Приведу Матару! – заявил Выкрест. Варя и Даша, смеясь, хныкали:

– Ох, уж все чай да чай голый! С него отчаишься!

Пили, однако, с удовольствием. Я пообещал, что в другой раз, может, и пивцо будет.

Девицы трепыхались весело и бессмысленно, как молодые воробьихи. Ни они, ни Ванька-Хан с Ванькой-Выкрестом не показались мне близкими к «разочарованию в жизни». Вот уж ни в каком случае!

17-го ноября

Укрепляю знакомства. Вчера был опять в «Рекорде» и нынче только что оттуда.

Вчера Выкрест привел Матару (Матрена, должно быть). Веселая, худая и неглупая. Стала звонким голосом жаловаться на «жизнь», но видно, что сама не вслушивается в привычные слова. Известно, что уж.

– День на день не приходится, это конечно. Нынче сыта, ну и вся я тут. А графья да князья, подумаешь, тоже небось не все по маслу едут.

– Господа и вообще мужчины больше из револьвера, если что не понравится, – сказал Ванька-Хан глубокомысленно. – А мы, как нам ношение огнестрельного оружия воспрещено, чаще насчет веревки. Ваша же сестра по эссенческой части. Ну, а впрочем, безразлично, в смысле результата.

Выкрест хихикнул.

– Веревка! Тоже очень нужно – давиться. Коли приспичат обстоятельства, так, – извините, не к тому будь сказано, – лучше уж в квартиру на что попадет идти.

– И то можно, – равнодушно отозвался Хан. – Дело простое. Лучше не лучше, а безразлично в смысле результата.

– То есть как же это? – не понял я. Но объяснений не получил.

Кроме двух сереньких воробьих, – Вари и Даши, – была третья, совсем девочка. Даша ее с торжеством отрекомендовала:

– Люботинка. У ней сестра родная травивши.

– Правда? Когда это?

– Да уж с неделю, – охотно отозвалась Люботинка. – Она и меня манила. «Чего, – говорит, – все равно ничего не выживешь» Я говорю: «Ладно, поспеем», а она тут и вот она. Я и в больницу свезла.

– Ну и что же?

– Да что. Потом говорила: «Очень, – говорит, – хорошо. Только больно».

– Выздоровела, значит?

– Не-ет, померла. Это она уж после причастия говорила. Матара вскинула глазами на меня:

– А что, господин, правда, есть такой яд, что и не больно? И будто недорогой?

– Есть. Цианистый калий. Его не продают. Впрочем, всякий, кто фотографией занимается, его легко достает.

Внезапно все оживились: и Хан, и Выкрест, и девочки, – все одинаково.

– Да ну? А какой он? А вы фотографией занимаетесь? Я даже удивился. И не сказал им, что фотографией нынче летом немного занимался.

На этот раз, кроме чая, было у нас и пиво, только немного. Я совсем не хотел покупать их болтовни угощением. Да и разговоры выходили какие-то неинтересные, во всяком случае, не те, каких я ожидал. Люди, что ли, не те?

Однако сегодня я опять к ним поплелся. Опять те же, без Матары. Хотел уж уйти, надоело. Вдруг является Матара и с ней какая-то непомерно высокая девушка в косынке.

– Вот вы добивались познакомиться, вот она, Катя Каменная, – сказала гордо Матара. – Еле уговорила привести, для разговору. Она теперь больная. А из здешних ее мало кто знает. Я одна знаю.

Все, впрочем, остались равнодушны. Один я был... как-то тронут. Даже немного оробел.

– Здравствуйте, Катя. Чаю выпьете?

Каменная села. Она была крупная, бледная, неподвижная, но без малейшей угрюмости.

– С коньяком угощаете? – спросила она густо.

– Ну хоть и с коньяком. Матара угодливо вмешалась.

– Вот господин давно интересуется, с чего ты травилась. Катка повела на меня глазами.

– Да я что ж... Меня тоже многие спрашивали. Люботинка подхватила.

– Ишь, небось теперь богатейка, собрали тебе в больнице денег. Теперь надолго. А вот Наталья весной померла, из окошка выбросилась. Новенький жакет, ну совсем новенький, украли. Понятно, досадно.

– Нет, что ж, – опять сказала Каменная. – Я так...

– От жизни, – пояснила Матара. – Ну, конечно, какая же наша жизнь...

Выкрест хихикнул.

– Какая ни на есть. Ишь ты, фу ты, перския принцессы! Не ндравится, так и не нужно.

Мне Катя Каменная казалась совершенно такой же, как все. Точно она так же не убивала себя, как Варя, Люботинка, я и Хан.

– Значит, ни из-за чего? – спросил я ее. – Просто, так себе?

Каменная неожиданно захохотала, так неожиданно, что я даже вздрогнул.

– От коньяку у меня теперь сейчас голова кружится. Отвыкла. Чего из-за чего? Глотнула-то? Про это вы? А я уж и позабыла. Как стали меня отхаживать, пристают об причине. Мне нутро жжет, а они – причина. Я и говорю: отвяжитесь, нет никакой причины, вот и весь сказ!

Все девицы захохотали, а Ванька-Хан и Выкрест, уже успевшие под шумок выхлестать всю бутылку коньяку, неистово заругались.

Мне надоело, я ушел. К тому же Люботинка стала ко мне наивно приставать. Она, очевидно, не верила, что я ищу каких-то разговоров. Да и не выходило разговоров.

Пойду еще как-нибудь к ним, только не сейчас. Или я чего-то не вижу, не понимаю, или везде люди одинаковы. И никакой самоубийственной психологии нет. Жакетку украли – одна причина. Жизнь такая – еще причина. Нет причины – тоже причина.

Решительно ничего не понимаю.

20-го ноября

Пытался взяться за работу, ходил к профессору, был в университетской библиотеке. Видел кое-кого. Глядел с любопытством. Может быть, некоторые уже убивали себя, другие завтра убьют, – и ни на ком ничего не видно. Так же обыкновенно держат себя, как и я. И физиономии такие же скучные, как у меня, вероятно.

Грязь желтая на улице, по колено, душит теплым навозом, – развезло. С утра темно. Штукатуры, что в Старой Деревне кого-то убили, ограбили на один рубль и рубль пропили, с быстротой молнии уже осуждены и уже повешены. Они, впрочем, держали себя все время с крайним равнодушием. Вспомнился мне Иван-Хан: «Безразлично, в смысле результата».

Пожалуй, и у них, и у Хана и Выкреста, все одна – штукатурная психология.

А мужичонка мой – утопленник?

21-го ноября

Сегодня в половине десятого мне подали письмо. Я еще лежал в постели. Была такая темнота, что я должен был зажечь свечку.

Прочитал. Не понял сразу. Опять прочитал.

Вот оно что!

Письмо от Лебедева, старенького секретаря «Казанских Вестей». Я его знаю так же давно, как и Толмачевых, мужа и жену. Он – редактор, она – верная ему помощница. Немолодые, хлопотливые, милые работники. В сентябре оба приезжали в Петербург, по делам газеты своей, я их видел часто, помогал здесь кое в чем... Уж очень их затеснили. Жаловались они, конечно, и на время, и на провинцию... Жаловались, как всегда, но... я ничего не заметил.

Ничего! А Никанор Саввич пишет, что они оба, муж и жена, на прошлой неделе отравились. Из одного стакана. Я не знал, я пропустил... или о провинции даже и не пишут?

Письмо удивительно спокойнее, тихо пришибленное.

«... Дела шли все хуже... Просто невозможно было бороться... Не выдержали...»

Дела. Так. Отравились мои «честные» старички. А что, если б вместо «Рекорда» я отправился в Казань? Вот теперь, неделю тому назад? Да нет, вздор. Они были бы такие же, как и в сентябре. Просидел бы я у них вечер, они бы жаловались, совсем как всегда, – а ночью, может быть, отравились бы. Дела шли худо. Работать было невозможно.

Подкосились старички.

Меня это как-то не потрясло. Даже странно, точно я ждал; или я привык, что случается неожиданное?

Думаю о них, впрочем. На душе тоска, но тоска эта и от темной оттепели. Не выношу оттепели.

Думаю и о себе. Моя жизнь идет сравнительно недурно. Я молод, одинок, денег мало, но хватает, потому что я невзыскателен. Я оставлен при университете, готовлюсь к магистерскому экзамену, занимаюсь работой, которую люблю... т. е. всегда любил. «Переворотные» годы (которые ничего не перевернули) – закрутили меня, схватили меня тогда, и я... впрочем, не надо, не надо этого вспоминать. Я не хочу, не люблю. Все прошло, все изменилось. Я так спокоен. Мирно занимаюсь делом. И почему это вдруг взбредли мне на ум самоубийцы? Сам не знаю. А уж к чему начнешь приглядываться – то само на тебя ползет. Вот теперь казанские старички... Причина – дела плохие. Причина – жакет новенький украли. Причина... что еще?

Нет причины. И «в смысле результата» – какая разница? Никакой.

24-го ноября

Пошел сегодня в «психометафизическое» общество. Никогда не любил обществ, а тут потянуло. Народу – тьма. Чего их всех потянуло?

Много знакомых. Да я избегаю знакомых. Разговорился только с одним товарищем, которого всегда любил, – молодым юристом, причастным к литературе.

Болтали с ним о недавней комичной дуэли между двумя третьестепенными поэтами.

– С чего это они? – говорю. – Только людей насмешили и калошу потеряли.

– Да... Но, знаете, как-никак, я присматривался: ужасно им жизнь надоела. Опротивела. Это было неожиданно и маловероятно. Я улыбнулся.

– И результат – потеря калоши?

– Ну, уж как сумели. Но уверяю вас, это в них чувствуется.

Я отошел. Издали еще поглядел на приятеля. Ничего, стоит, и с веселым лицом. Но стоит слабовато, опущенно, точно ноги у него слегка подгибаются. Хотел я вернуться, спросить: «Ему-то жизнь не опротивела?» Да не вернулся. Все равно ведь не знает. Лицо – веселое. И совсем не в том штука, что жизнь опротивела! Я пошел в зал. Стал у дверей.

Ни реферата, ни прений я не слушал. А все смотрел, как сидят и слушают. Сидят, ничего. Тихо. Двигаются мало. И как-то осторожно, будто стеклянные. В первый раз заметил я эту новую, вялую успокоенность в толпе, – осторожную и безразличную тихость. И не то, чтобы скучали – нет! А просто, сидят себе.

Их так много. Кто из них завтра свернется, не вынеся, если не украденной жакетки, так чего-нибудь другого? Кто из них вчера свертывался и случайно спасся на время, как моя Катя Каменная?

Не знаю. И они сами не знают. Ни те, в «Рекорде», ни эти, здесь... Ведь и казанские мои работники до последнего часа не знали, что выпьют, что выпили.

Да когда же это все произошло? Такое громадное произошло, а никто не заметил. Да ведь это же вовсе не люди!

Меня точно ударило. Я тотчас же вышел, пошел домой пешком и все время думал. Ну да, теперь совершенно ясно. На примере стало ясно.

Мне помог роман Уэльса. Внезапно вспомнился, зажегся в уме. Двое земных людей попали на луну. Жителей там – куча. Они похожи на муравьев, вставших на задние лапки; ростом немного поменьше людей. Людей было только двое, и на них стали, в каких-то подземельях, надвигаться целые полки враждебных громадных муравьев. Казалось бы, гибель. Но люди вдруг заметили, что эти муравьи – необыкновенно слабы и хрупки. Чуть тронешь – веточкой, пальцем, – он уж подвернулся и готов. Мало того, муравей, едва сам заденет за что-нибудь – треснул; ножки неловко одна за другую скрутятся – повалился, дух вон. Так и закатались они по всему подземелью мертвыми телами.

Вот в этаких муравьев и начали тихо превращаться люди. Когда, с каких пор, почему?

Точно воздух насытил кто-то незаметными парами, таящими силу превращения; и дышат ими все, от «Рекорда» до «Психического общества», от Петербурга до Казани и Саратова, – везде, все; и слабеют, и хрупнут, и валятся в смерть. Валятся, на человеческий взор, почти без всякой причины. Он и сам, муравей, не думает, не ожидает... заплелись ножки случайно, он уж и завалился, и хрустнул, и уж мертвый, к собственному удивлению.

Что же это за пары? Когда они, ядовитые, поползли по нашей земле? Кто сделал из людей муравьев, незащищенных от смерти?

25-го ноября

Спал спокойно. Ничего не снилось. Утром было немного светлее, все-таки хоть читать, приглядываясь, можно без огня.

Разобрались в «Новом Времени» следующее. (Нарочно целиком выписываю, это подлинное; документы скучны, да назидательны). Вот один вчерашний, Екатеринин день:

«...Рижск. пр.; рабочая Александра Смирнова, 15 лет, явилась к своей бабушке и во время разговора внезапно выпила флакон уксусной эссенции. Положение тяжелое. На набережной Обводного канала усмотрена Александра Сергеева, 17 лет, отравившаяся нашатырным спиртом. Разочарование жизнью. В д. № 3, по Могилевской улице, выпил уксусной эссенции Иван Филем, 29 лет, механик. В красильной мастерской Дамма отравился серной кислотой Иван Филиппов, 23 лет. По Малому пр., Алекс. Масленников, после ссоры с женой, принял уксусной эссенции. Вечером (того же дня) в Обводный канал бросился неизвестный молодой человек. Пробив лед, исчез под водой. Тело не найдено. Анна Захарова, 16 лет, приняла уксусной эссенции и уже скончалась в Обуховской больнице. Того же дня судебный пристав спб. мирового съезда В. К. Косминский найден в своей квартире повесившимся, на 65 г. жизни. Причина неизвестна. В д. № 20, по 1-й роте Измайловского полка, перерезал себе горло отставной полковник В. Г. Петрович, 70 лет. Жил на пенсию, никогда не был женат, записок не оставил, положение тяжелое»...

Довольно бы, кажется? Нет, вот еще: две неизвестные девушки, наняв извозчика, выпили во время пути флакон уксусной эссенции.

В другой газете попало мне интервью с проф. Пржибытек. Ох, уж эти интервью! Но сегодняшнее разумно очень кончается:

«Я не говорю, – твердо объявляет профессор, – что борьба с отравлениями не нужна, но ведь, в сущности, она невозможна, так что всякие усилия, с чьей бы они стороны ни исходили и в каком бы направлении ни шли, никак не могут привести ни к каким результатам».

Ну, еще бы! Как бороться с возможностью, что у муравьи-Наташи украдут жакетку, что муравей-Филев поссорится с женой, что курсистка Б. разочаруется в жизни, что вообще у муравья подвернется ножка?

Тут дело не в том, что ножка подвертывается, тут дело серьезнее, а именно, что по земле ходят муравьиные лапы вместо человеческих ног.

Вечером отправился в «Рекорд». Там – никого знакомых. Вышел на Лиговку, долго гулял, заворачивал и в соседние переулки; видал народ, но не хотел разговаривать, своих искал. Спросил только одну девушку про Матару; она тут, кажется, самая известная. Ничего не добился.

Заходил в две чайные. Нет. Тепло и ветрено, хотя не очень мокро. Такую погоду еще можно выносить.

Собрался уж домой – вдруг мелькнула затененно, за углом, знакомая, танцующая фигура.

Догоняю и тихонько окликаю:

– Эй, Выкрест!

Выкрест обернулся и посмотрел враждебно.

– Чего вам?

– Да чего ты? В чайную не хочешь зайти? Куда вы все провалились?

Выкрест продолжал глядеть сурово.

– Нет уж, господин, вы лучше идите по своим делам, не задерживайтесь.

– Да ты с ума-то не сходи, – прикрикнул я на него. – Коли занят, убирайся ко всем чертям, я Ваньку-Хана пойду искать.

Окрик, как всегда, отлично подействовал. Выкрест под-танцевал ко мне ближе и, оглядываясь, забормотал:

– Извините, я по случаю того, что я на замечании с некоторого времени. Даже фуражку университетскую принужден был скинуть. А Ваньку-Хана вы, извините, не сыщете.

– Это почему же?

– Да уж так. На казенных хлебах он.

– Вот что! Давно ли?

– Давно ли, нет ли, – зашептал Выкрест, придвигаясь еще ближе, – а только уж теперь каюк. Городовому в морду он съездил, извините за выражение!

– Ну! Пьян, что ли, был?

– Ни-ни, не выпивши! Скандальчик тут у нас, конечно, вышел, ну и ничего бы, а Ванька, точно его разорвало, как хлястнет! Ножик, между прочим, обнаружен был... Да черт с ним, с дьяволом, совсем, – прибавил Выкрест, внезапно озлобившись, – других бы кого не запутал, матери его...

– Ну ладно, прощай, – сказал я. – Одурели вы все давно, ну и пропадайте!

– Да это верно, что одурели. Но я, извините, как вы всегда были столь любезны... Я ведь разговор понимаю. Каткой вы Каменной интересовались для наблюдения... А теперь вот эти две девчонки облопались.

– Что вы городите? Какие еще девчонки? Подите лучше, выпейте, так и быть. А я домой собрался.

– Благодарю вас, – с достоинством произнес Выкрест, пряча рубль. (Деньгами я их не баловал, но уж пусть, на прощанье.)

– Чувствительно благодарю. А девчонки это верно. Дашка да Варька. На извозчика сели, да и опорожнили. В Обухов-скую так прямо их извозчик и повез.

– В Обуховскую?

– Да куда ж их еще? Не во дворец же везти?

Идиотски захихикал. Я круто повернул от него. Так вот кто «неизвестные девушки» в газете! Варя и Даша, глупенькие и веселенькие, как воробьи! Да какие там воробьи! Из муравьев они лунных. «Вдруг» – что-то неприятно, «вдруг» – на гривенник эссенции и «вдруг» – выпили. А потом... «Больно, но хорошо!» – как говорила Люботинкина сестра «уж после причастия». Подвернулась лапка и хрустнули крылышки.

Несвежий, оттепельный ветер захватил мне дыханье. Я переждал – и пошел опять.

27-го ноября, 3 часа ночи

Кончено. Пусть последним днем этого моего дневника будет сегодняшний день, когда я ездил в Обуховскую навещать веселеньких моих муравьев. И когда я понял последнее, что мне следовало понять. Закрывайся, тетрадка! Валяйся где хочешь! Ты мне больше просто не нужна.

Узнать о девчонках в этой проклятой больнице было не легко. Но я заупрямился. Решил, что непременно добыюсь. Занятым людям надоел. И когда уже добился – увидел, что, в сущности, можно было и не узнавать.

Мне сказали, что Даша умерла вчера, а Варя уже сутки без сознания и умрет скоро. Предлагали войти к ней, но я не пошел смотреть на Варю без сознания.

Вернулся домой и вот сижу в своей привычной комнате, с привычными бумагами и книгами, с зеленой лампой, которая всегда немножко пахнет керосином.

Лунные муравьи... А почему не сразу пришло мне в голову (теперь только пришло), что и я тоже, что и я сам – лунный муравей? Ведь для меня – это и есть самое важное. Теперь-то я понимаю. Понимаю, что и не могло быть иначе. Ведь и я удушен тем же удушьем, отравлен тем же прозрачным, невидным и злым газом, который напоз на мою землю и обратил людей, – исподволь, – в хрупких, валких, нежных муравьев. Мы все не думаем о смерти, не видим ее, – потому что слишком она близко, слишком – вот она.

Убьют, толкнут, удавят, – убьемся, натолкнемся, удавимся, – все равно мы умираем, и все одно и то же «в смысле результата», как говорил Иван-Хан. И самому убить можно, чтобы награть сто копеек (1 рубль), да пропить. Опять «результат один», потому что смерть же, и твоя же, в конце концов. Так и пойдет трупик на трупик, горкой: валялись же муравьи один на другом в лунном подземельи. И пусть.

Я тоже нисколько не думаю о смерти, живу себе спокойно. Но вспоминая – вспоминаю, как я был человеком. Могу, пожалуй, проследить, когда именно началось это мое (наше) превращение. Да, да, вот когда кончались «переворотные» годы. Они кончались, а превращение начиналось; ведь тогда-то и поползли первые струйки ядовитого газа. Я прежде не любил вспоминать этих годов, времени, когда я еще был человеком, – но раз уж я понял и покорился муравьиности, то можно и вспомнить.

От равнодушия я не верю в возможность спасения, – изменения. Ведь какая сила дыханья нужна, чтобы сдуть тяжкие пары, чреватые ядом; ведь приникли они к земле нашей близко, тесно, цепко. Божье разве дыханье сдуло бы их, смело, очистило смертно-затихшую землю... Божье разве.

Я не помышляю убивать себя. Ведь мне живется спокойно. Однако на всякий случай, чтобы после уж не возиться, я выдвинул из-под кровати запыленный ящик фотографических принадлежностей и нашел баночку с миндально-белыми кристаллами.

У меня есть коробочка с облатками пирамидона: принимаю, когда голова болит. Так вот я и придумал: расклеить одну облатку, пирамидон высыпать, а положить туда этого... белого, растерев предварительно кристаллы в ступке. Облатку я опять заклеил. На ней чернилами поставил крестик и положил ее с краю, чтобы еще не ошибиться как-нибудь, Боже сохрани. Я не собираюсь отравливаться, да еще случайно.

На дворе, кстати, подмораживает... Вот не знаю, как я перенесу следующую оттепель. Для моих муравьиных сил это слишком. Хорошо, если не будет оттепели. А вдруг – будет? В декабре? В январе?

Ну что ж, тогда облатка с черным крестиком. «Хорошо...» и не больно даже.

Милые сестры Катя, Даша, Варя и другие, кухарки, проститутки, курсистки, невесты, любовницы, матери и старые девы, – милые братья, полковники, механики, рабочие, судебные пристава, студенты, революционеры, правоведы, редактора, гимназисты, и вы, штукатуры с рублем, и бунтари, и экспроприаторы, и губернаторы, – все поконченные и сами с собою покончившие, все удушенники, утопленники, отравленники, зарезанные и разорванные, братья мои, тени смертные – ждите меня! Я – ваш, я – как вы. Подует гнилой ветер с гнилого моря, захлопает коричневая петербургская грязь под моими муравьиными ножками, – и они заплетутся, и я упаду и хрустну, как вы упали.

До свиданья, милые... до первой оттепели.